

ЗАМЕТКИ.

I.

Мысль, которая заметно чаще других точит его сердце—мысль о Боге. Иногда кажется, что это и не мысль, а—напряженное сопротивление чему-то, что он чувствует над собою. Он говорит об этом меньше, чем хотел бы, но думает—всегда. Едва ли это признак старости, предчувствие смерти,—нет, я думаю, это у него от прекрасной человеческой гордости. И—немножко от обиды, потому что, будучи Львом Толстым, оскорбительно подчинять свою волю какому-то стрептококу. Если бы он был естествоиспытателем, он, конечно, создал бы гениальные гипотезы, совершил бы великие открытия.

II.

У него удивительные руки,—не красивые, узловатые от расширенных вен и всетаки исполненные особой выразительности и творческой силы. Вероятно, такие руки были у Леонардо да Винчи. Такими руками можно делать все. Иногда, разговаривая, он шевелит пальцами, постепенно сжимает их в кулак, потом вдруг раскроет его и одновременно произнесет хорошее, полновесное слово. Он похож на бога, не

на Саваофа или олимпийца, а на эдакого русского бога, который „сидит на кленовом престоле под золотой липой“ и хотя не очень величествен, но, может быть, хитрей всех других богов.

III.

К Сулержицкому он относится с нежностью женщины. Чехова любит отечески,—в этой любви чувствуется гордость создателя,—а Сулер вызывает у него именно нежность, постоянный интерес и восхищение, которое, кажется, никогда не утомляет колдуна. Пожалуй, в этом чувстве есть нечто немножко смешное, как любовь старой девы к попугаю, моське, коту. Сулер—какая-то восхитительно вольная птица чужой, неведомой страны. Сотня таких людей, как он, могли бы изменить и лицо и душу какого-нибудь провинциального города. Лицо ее они разобьют, а душу наполнят страстью к буйному, талантливому озорству. Любить Сулера легко и весело и когда я вижу, как небрежно относятся к нему женщины, они удивляют и злят меня. Впрочем, за этой небрежностью, может быть, ловко скрывается осторожность. Сулер—не надежен. Что он сделает завтра? Может быть, бросит бомбу, а может—уйдет в хор трактирных песенников. Энергии в нем—на три века. Огня жизни—так много, что он, кажется, и потеет искрами, как перегретое железо.

IV.

Гольденвейзер играл Шопена, что вызывало у Льва Николаевича такие мысли:—Какой-то маленький немецкий царек сказал:—„Там, где хотят иметь рабов, надо как можно больше сочинять музыки“. Это—

верная мысль, верное наблюдение—музыка притупляет ум. Лучше всех это понимают католики,—наши попы, конечно, не помирятся с Мендельсоном в церкви. Один тульский поп уверял меня, что даже Христос не был евреем, хотя он сын еврейского бога и мать у него еврейка;—это он признавал, а все-таки говорит: „Не могло этого быть“. Я спрашиваю: но—как же тогда? Пожал плечами и сказал: „Сие для меня тайна“!

V.

„Интеллигент—это галицкий князь Владимирко, он еще в 12 веке говорил „предерзко“: „В наше время чудес не бывает“. С той поры прошло шестьсот лет и все интеллигенты долбят друг другу: „Нет чудес, нет чудес“. А весь народ верит в чудеса так же, как верил в 12 веке“.

VI.

„Меньшинство нуждается в Боге, потому что все остальное у него есть, а большинство потому—что ничего не имеет“.

Я бы сказал иначе: большинство верит в Бога по малодушию, и только немногие—от полноты души.

VII.

Советовал мне прочитать буддийский катехизис. О буддизме и Христе он говорит всегда сентиментально; о Христе особенно плохо—ни энтузиазма, ни пафоса нет в словах его и ни единой искры сердечного огня. Думаю, что он считает Христа наивным, достойным сожаления и хотя—иногда—любуется им,

но—едва ли любит. И как будто опасается: приди Христос в русскую деревню—Его девки засмеют.

VIII.

Сегодня там был великий князь Николай Михайлович, человек, видимо, очень умный. Держится очень скромно, малоречив. У него симпатичные глаза и красивая фигура. Спокойные жесты. Л. Н. ласково улыбался ему и говорил то по французски, то по английски. По русски сказал:

— Карамзин писал для царя, Соловьев—длинно и скучно, а Ключевский для своего развлечения. Хитрый: читаешь — будто хвалит, а вникнешь—обругал.

Кто-то напомнил о Забелине.

— Очень милый. Под'ячий такой. Старьевщик-любитель, собирает все, что нужно и не нужно. Еду описывает так, точно сам никогда не ел досыта. Но—очень, очень забавный.

IX.

Он напоминает тех странников с палочками, которые всю жизнь меряют землю, проходя тысячи верст от монастыря к монастырю, от мошей к мощам, до ужаса неприютные и чужие всем и всему. Мир—не для них, Бог—тоже. Они молятся ему по привычке, а в тайне душевной ненавидят его, — зачем гоняет по земле из конца в конец, зачем? Люди—пеньки, корни, камни по дороге — о них спотыкаешься, и, порою, от них чувствуешь боль. Можно обойтись и без них, но иногда приятно поразить человека своею непохожестью на него, показать свое несогласие с ним,

X.

„Фридрих Прусский очень хорошо сказал: „Каждый должен спастись а sa façon. Он же говорил: „Рассуждайте, как хотите, только слушайтесь“. Но, умирая, сознался: „Я устал управлять рабами“. Так называемые великие люди всегда страшно противоречивы. Это им прощается вместе со всякой другой глупостью. Хотя противоречие—не глупость: дурак—упрям, но противоречить не умеет. Да—Фридрих—странный был человек: заслужил славу лучшего государя у немцев, а терпеть не мог их, даже Гете и Виланда не любил...“

XI.

„Романтизм“—это от страха взглянуть правде в глаза,—сказал он вчера вечером по поводу стихов Бальмонта. Сулер не согласился с ним и, шепелявя от возбуждения, очень патетически прочел еще стихи.

— Это, Левушка, не стихи, а шарлатане а ерундистика, как говорили в средние века,—бессмысленное плетение слов. Поэзия—без-искусственна; когда Фет писал:

Не знаю сам, что буду петь,
Но только песня зреет,—

этим он выразил настоящее, народное чувство поэзии. Мужик тоже не знает, что он поэт,—ох, да-ой, да-эй—а выходит настоящая песня, прямо из души, как у птицы. Эти ваши новые все выдумывают. Есть такие глупости французские—„артикль де Пари“—так вот это они самые у твоих стихоплетов. Некрасов тоже сплошь выдумывал свои стишонки.

— А Беранже?—спросил Сулер.

— Беранже—это другое! Что же общего межлу

нами и французами? Они—чувственники, жизнь духа для них не так важна, как плоть. Для француза прежде всего—женщина. Они—изношенный, истрепанный народ. Доктора говорят, что все чахоточные—чувственники.

Сулер начал спорить с прямотой, свойственной ему, неразборчиво выбрасывая множество слов. Л. Н. поглядел на него и сказал, улыбаясь широко:

— Ты сегодня капризничаешь, как барышня, которой пора замуж, а—жениха нет...

XII.

Болезнь еще подсушила его, выжгла в нем что-то, он и внутренне стал как бы легче, прозрачней, жизнеприемлее. Глаза—еще острей, взгляд—пронзающий. Слушает внимательно и словно вспоминает забытое или уверенно ждет нового, неведомого еще. В Ясной он казался мне человеком, которому все известно и больше нечего знать,—человеком решенных вопросов.

XIII.

Если-бы он был рыбой, то плавал бы, конечно, только в океане, никогда не заплывая во внутренние моря, а особенно—в пресные воды земных рек. Здесь вокруг него ютится, шмыгает какая-то плотва; то, что он говорит, не интересно, не нужно ей и молчание его не пугает ее, не трогает. А молчит он внушительно и умело, как настоящий отшельник мира сего. Хотя и много он говорит на свои обязательные темы, но чувствует, что молчит еще больше. Иного—никому нельзя сказать. У него, наверное, есть мысли, которых он боится.

XIV.

Кто-то прислал ему превосходный вариант сказки о Христовом крестнике. Он с наслаждением читал сказку Сулеру, Чехову,—читал изумительно! Особенно забавлялся тем, как черти мучают помещиков, и в этом что-то не понравилось мне. Он не может быть неискренним, но если это искренно, тогда еще хуже.

Потом он сказал:

— Вот как хорошо сочиняют мужики. Все просто, слов мало, а чувства—много. Настоящая мудрость немногословна, как—Господи помилуй.

А сказочка—свирепая.

XV.

Его интерес ко мне—этнографический интерес. Я, в его глазах, особь племени, мало знакомого ему и—только.

XV..

Читал ему свой рассказ „Бык“, он очень смеялся и хвалил за то, что знаю „фокусы языка“.

— Но распоряжаетесь вы словами неумело,—все мужики говорят у вас очень умно. В жизни они говорят глупо, несуразно,—не сразу поймешь, что он хочет сказать. Это делается нарочно,—под глупостью слов у них всегда спрятано желание дать выговориться другому. Хороший мужик никогда сразу не покажет своего ума, это ему невыгодно. Он знает, что к человеку глупому подходят просто, бесхитростно, а ему того и надо! Вы перед ним стоите открыто, он тотчас и видит все ваши слабые места. Он недоверчив, он и жене боится сказать заветную мысль. А у

вас—все нараспашку и в каждом рассказе какой-то вселенский собор умников. И все афсризмами говорят, это тоже не верно,—афоризм русскому языку не сроден.

— А пословицы, поговорки?

— Это—другое. Это не сегодня сделано.

— Однако, вы сами часто говорите афоризмами.

— Никогда! Потом вы прикрашиваете все: и людей, и природу, особенно—людей! Так делал Лесков, писатель—вычурный, вздорный, его уже давно не читают. Не поддавайтесь никому, никого не бойтесь,—тогда будет хорошо...

XVII.

В те радке дневника, которую он дал мне читать, меня поразил странный афоризм: „Бог есть мое желание“.

Сегодня, возвратив тетрадь, я спросил его,— что это?

— Незаконченная мысль,—сказал он, глядя на страницу прищуренными глазами.—Должно быть, я хотел сказать: Бог есть мое желание познать его... Нет, не то...—Засмеялся и, свернув тетрадку трубкой, сунул ее в широкий карман своей кофты. С Богом у него очень неопределенные отношения, но иногда они напоминают мне отношения „двух медведей в одной берлоге“.

XVIII.

О науке.

— „Наука—слиток золота, приготовленный шарлатаном-алхимиком. Вы хотите упростить ее, сделать понятной всему народу,—значит: начеканить множе-

ство фальшивой монеты. Когда народу станет понятна истинная ценность этой монеты—не поблагодарит он нас“.

XIX.

Гуляли в Юсуповском парке. Он великолепно рассказывал о нравах московской аристократии. Большая русская баба работала на клумбе, согнувшись под прямым углом, обнажив слоновые ноги, потряхивая десяти-фунтовыми грудями. Он внимательно посмотрел на нее.

— Вот такими кариатидами и поддерживалось все это великолепие и сумасбродство. Не только работой мужиков и баб, не только оброком, а в чистом смысле кровью народа. Если бы дворянство время от времени не спаривалось с такими, вот, лошадьми, оно уже давно бы вымерло. Так тратить силы, как тратила их молодежь моего времени нельзя безнаказанно. Но, перебесившись, многие женились на дворовых девках и давали хороший приплод. Так что—и тут спасала мужицкая сила. Она везде на месте. И нужно, чтобы всегда половина рода тратила свою силу на себя, а другая половина растворялась в густой деревенской крови, и ее тоже немного растворяла. Это полезно.

XX.

О женщинах он говорит охотно и много, как французский романист, но всегда с тою грубостью русского мужика, которая раньше неприятно подавляла меня. Сегодня, в Миндальной роще, он спросил Чехова:

— Вы сильно распутничали в юности?

А. П. смятенно ухмыльнулся и, подергивая бороду, сказал что-то невнятное, а Л. Н., глядя в море, признался:

— Я был неутомимый...

Он произнес это сокрушенно, употребив в конце фразы соленое мужицкое слово. Тут я впервые заметил, что он произнес это слово так просто, как будто не знает достойного, чтобы заменить его. И все подобные слова, исходя из его мохнатых уст, звучат просто, обыкновенно, теряя где-то свою солдатскую грубость и грязь. Вспоминается моя первая встреча с ним, его беседа о „Вареньке Олесовой“, „26 и одна“. С обычной точки зрения речь его была цепью „неприличных“ слов. Я был смущен этим и даже—обижен, мне показалось, что он не считает меня способным понять другой язык. Теперь понимаю, что обижаться было глупо.

XXI.

Он сидел на каменной скамье под кипарисами, сухонький, маленький, серый и все-таки похожий на Саваофа, который несколько устал и развлекается, пытаясь подсвистывать зяблику. Птица пела в густоте темной зелени, он смотрел туда, прищулив острые глазки и по детски—трубой—сложив губы, насвистывал неумело.

— Как ярится пичужка! Наяривает. Это—какая?

Я рассказал о зяблике и о чувстве ревности, характерной для этой птицы.—На всю жизнь одна песня, а—ревнив. У человека сотни песен в душе, но его осуждают за ревность—справедливо ли это?—задумчиво и как бы сам себя спросил он.—Есть такие минуты, когда мужчина говорит женщине больше того, что ей следует знать о нем. Он сказал и—забыл, а